

много лет занимался русской историей и литературой. Он умер на следующий год после издания «Русского альманаха». Его неоконченные мемуары теперь опубликованы и в России.

«Что остаётся от сказки потом, после того как её рассказали?» — спел когда-то Владимир Высоцкий.

Что остаётся от книги, в нашем случае историко-литературного альманаха?

Не только опубликованные материалы, которые потом не раз перепечатывались, анализировались, использовались в разных контекстах. Ещё — сигнальный огонёк традиции, память о работе, которая — в совершенно иных условиях — должна быть продолжена и продолжается.

Как бы ухитриться сделать описанную Андреевым русскую Прагу русской Россией!

* * *

РЕНЭ ГЕРРА

Филолог-славист, коллекционер

ИНТЕРВЬЮ С Б. К. ЗАЙЦЕВЫМ («Русский альманах», 1981 г.)

Это интервью подготовлено было нами в декабре 1970 года для французского телеканала О. Р. Т. Ф. в рамках серии «Архив XX века». Я составил для этой телепередачи опросник, а Б. К. Зайцев, чтобы лучше подготовиться к выступлению, решил ответить сначала письменно на все мои вопросы. Ответы его я перевёл на французский язык, и этим переводом он отчасти воспользовался во время телесъёмки. Русский текст его ответов остался в моём архиве неопубликованным и печатается впервые с небольшими сокращениями.

— *Вы родились, Борис Константинович, в Орле 29 января 1881 года. Детство провели в русской деревне конца XIX века, и молодость Ваша прошла в стране, подвергнувшейся неимоверным потрясениям, которые теперь принадлежат истории. Страна эта, которая так Вам дорога, что Вы как бы носите её в себе, которая на протяжении всего Вашего творческого пути является единственной темой, явной или тайной, — страну эту Вам пришлось покинуть вот уже 48 лет тому назад. Вы разделили судьбу миллиона русских эмигрантов, и Вы продолжали творить с чувством, будто бы Вы подчиняетесь исторической необходимости.*

Сегодня Вы могли бы воскликнуть торжествующе с тем же чувством, которому французский поэт Сен-Жон Перс дал окончательную и лапидарную форму «Grand Age? nous voici!»¹ Ваш взор охватывает

¹ «Вот и мы, глубокая старость» (франц).



Б. Зайцев и Р. Герра. Париж. 1967. © Коллекция Ренэ Герра

целую эпоху и больше полувека литературного творчества. Недаром Вас прозвали «патриархом русской словесности». Прежде чем отвечать на все вопросы, на которые Вы один можете ответить, не прибегая к книжным источникам, не согласились бы Вы поделиться с нами переживаниями, которые может испытать человек, имевший редкий дар принадлежать к двум столетиям и который при тех обстоятельствах, которые нас в настоящую минуту объединяют, должен осознать то редкостное и исключительное своё положение из «Реки времён», если только Вы нам разрешите воспользоваться этим образом, заимствованным из названия Вашей последней книги?

— Да, я родился в Орле, но уже годовалым ребёнком был перевезён в Калужскую (соседнюю) губернию, где отец, горный инженер, получил место начальника рудников для ближайших железоделательных заводов.

Родители мои, по происхождению дворяне, находились на границе барства и тогдашней интеллигенции, то есть немногочисленной группы просвещённых людей. Нас, детей, воспитывали как во всех семьях тогдашнего образованного общества: первоначальное домашнее обучение (гувернантки немки), дальше — гимназия и высшие учебные заведения. Мы жили в раннем моём детстве в большом некогда помещичьем доме села Усты. Отец ездил каждый день на соседние рудники, а в Устах, при патриар-

хальном тогдашнем складе жизни, считался как бы и представителем власти, а с другой стороны — заступником крестьян в их бедах (пожары, голод, мать моя лечила, как умела, детей, укрывала баб от побоев мужей и т. п. и т. д.).

Всё моё детство прошло — кроме семьи моей — среди простонародья. Был я среди них «барчук», но и простой товарищ детских игр. Крепостное право уже не существовало, но, конечно, расстояние — по всему складу и материальной жизни, и по образованию — было огромное между «нами» и «ними». (Начальная школа в нашем селе была, но этим и ограничивалось народное образование. Всеобщая грамотность появилась позднее, перед войной 1914 года.)

Да, я жил и в том, и в этом веке. Видел Россию и императора Александра III, и Ленина. Детские мои годы относятся ко временам патриархальным, взрослые — к революции и эмиграции. Могу повторить за Saint-John Perse: «GRAND Age, nous voici!» Много видано. От России молодости моей во многом остались рожки да ножки, и всё-таки я её помню, далеко не всё в ней люблю, но сойду в могилу русским — некая основа навсегда осталась, как ни изменилась жизнь.

— *Расскажите нам об этой России конца прошлого столетия, «России изб и усадеб», которую Вы описали в Вашей тетралогии «Путешествие Глеба».*

— Вы меня спрашиваете, какова была эта Россия дореволюционная. Вопрос сложный, ответ даю краткий и упрощённый. Россия была: барин и мужик. Необъятная земледельческая страна с тонким верхним слоем дворянства, нарождающейся буржуазией и интеллигенцией. Фабрично-заводского в стране было мало; развитие — это дело уже XX века. Мои родители принадлежали к дворянству, отец — горный инженер — жил постоянно в деревне, заведая рудниками или железодельным заводом, но всегда в тесной связи с низами.

В нашу дорогую, родную, но культурно отсталую страну такие люди, как он, вносили, как умели, более высокое, не принадлежа ни к каким революционным партиям.

— *Расскажите нам также о воспитании, полученном Вами в Калужской гимназии, где Вы получили среднее образование.*

— Одиннадцати лет я поступил в Калужскую гимназию, лицей с древними языками. Обучали языкам этим сухо и формально... Учреждение вообще глубоко чиновничье, как бы созданное для того, чтобы воспитывать неприязнь к себе. Нас вели строго, и вообще всё заведение, руководимое суровым директором и педантическим инспектором, скорее смахивало на военную казарму. Я пробыл там недолго. Уже через год, на вступительном экзамене, был принят в 4-й класс Реального училища для подготовки к карьере инженера. Здесь было проще и жизненней, всё же интересы мои внутренние были совсем не тут...

— *Что Вы читали в те годы? Начали ли уже писать, когда были в гимназии, или Ваше писательское призвание открылось позже?*

— Я всегда много читал. Ребёнком — Жюль Верна, Майн Рида. Позже — Тургенева. «Первая любовь» его навсегда вошла в душу. Помню, закончив её, выбежал я в парк и долго бегал в восторге по аллеям. Кажется, ни одно литературное произведение не производило на меня такого впечатления. Увлекался Эмилем Золя (а позже к нему был вполне равнодушен). Чтение это привело к мелкому полукомическому инциденту. Помню, вызвал меня инспектор в длинный коридор и, гуляя со мной, заложив назад руку, побалтывая фалдой фрака, сказал: «Золя читаете? Слышал, слышал...» Я не возражал. «Пакостный писатель, пакостный-с... Советую бросить. Иначе можете получить полный балл по поведению». Что такого страшного нашёл инспектор провинциального училища в Золя, не знаю. Дурной отметки по поведению я не получил, но позже сам этого Золя бросил. Любовь моя перешла к Флоберу.

Сам тогда я не пробовал ещё писать, но на каникулах 1897 года попалась мне книжка Чехова «Хмурые люди». Этот писатель покорила. Тургенев — великое прошлое, а этот живой, свой, такой близкий по духу.

— *Вы нам только что говорили о русской деревне. Не могли ли бы Вы теперь описать тот провинциальный город, каким его увидел тогдашний гимназист?*

— Приближалось время, когда надо было покидать Калугу с её реальным училищем. Город это был губернский, вялый и малозаметный в русской тогдашней жизни. Расположен очень красиво на высоком берегу реки Оки, могучего притока Волги. Прорезает Ока чуть не всю среднюю Россию — на ней расположен и Орёл Тургенева, Лескова, Бунина, Леонида Андреева. Теперь город сильно модернизирован, а в моё время был известен только тридцатью шестью церквями и «калужским тестом» (нельзя сказать чтобы вкусным).

— *В 1898 году Вы выдержали конкурсный экзамен для поступления в Императорское Техническое училище, но весной были исключены за участие в студенческой забастовке — можно ли из этого заключить, что Вы были одним из тех, кого теперь во Франции называют «étudiant contestataire»²?*

— Я действительно был исключён за участие в студенческих беспорядках. Но contestatair'ом никогда не был. Всё дело в самолюбии. Вопрос ставился так: «Кто не „с нами“, тот трус». Ах, я трус? Покорнейше благодарю. И примкнул. И скоро почувствовал, что сделал глупость.

— *После Вашего исключения из Московского Технического училища, Вы уехали в Петербург, где с успехом сдали трудный конкурсный экзамен для поступления в Горный институт. Каковы впечатления молодого провинциала по приезде в столицу Российской империи?*

— Хотя учебный год 1898–1899 годов я прожил в Москве, но настоящую «столицу» увидел лишь в Петербурге. И сразу же невзлюбил её — за сум-

² Студентом-бунтовщиком (франц).

рачность, известное величие и холод, всё нерусское в ней (в противоположность Москве). Я жил одиноко и грустно в чужом неприятном городе.

— *Двумя годами позже Вы возвращаетесь в Москву, где поселяетесь у Вашего отца, приглашённого между тем на место директора большого железодельного завода Гужона. Вы уже сами больше не стремитесь к инженерной карьере, но целиком предали словесности. Как начались Ваши первые шаги в литературе?*

— Будучи на втором курсе Горного института, вдруг, перед Рождеством 1899 года, вернулся, к удивлению родителей, в Москву. Тут и начинаются первые попытки мои литературные. Они совпали по времени с намерением Чехова продать подмосковное своё имение Мелихово, чтоб окончательно переселиться в Крым. А отец мой как раз хотел купить имение. Я вызвался съездить в Мелихово для переговоров, мечтая о Чехове и литературе. Но Чехова там не оказалось, находился он уже в Ялте, в Крыму. Тут я проявил некое упрямство. Будучи уже автором меланхолической вещи, навеянной тоской Петербурга, я летом ухитрился съездить в Крым и, предварительно отослав рукопись, нагрянуть к Чехову. Когда извозчик остановился у дачи, оттуда выходил тоже молодой человек, и с рукописью. Чехов был прост, естественен, ничего особого не сказал, но на меня подействовал ободряюще. Этого именно я и ждал.

— *Девяностые годы характеризовались застоём в литературной и художественной жизни. Были ли Вы причастны к тем основным литературным течениям того времени, оканчивающимся на «измы», которые Вы сами, не без некоторой иронии, отметили: реализм, символизм, модернизм и импрессионизм?*

— Девяностые годы были унылыми для русской литературы. Прежний реализм как бы иссякал. Старые корифеи — Тургенев, Толстой, Достоевский — уже исчезли, из новых почти никого. Зато назревали новые течения, пока ещё недостаточно проявившиеся. Символизм, импрессионизм и др.

— *Опубликовав Ваш первый рассказ в 1901 году, Леонид Андреев ввёл Вас в литературные московские круги, и Ваше появление не осталось незамеченным, как можно убедиться, читая воспоминания Н. Телешова: «Однажды Андреев привёз к нам новичка. Как в своё время его самого привёз к нам Горький, так теперь он сам привёз на Среду молоденького студента в серой форменной тужурке с золочёными пуговицами. Юноша талантливый, говорил про него Андреев, напечатал в „Курьере“ хотя всего два рассказа, но ясно, что из него выйдет толк. Юноша всем понравился, и рассказ его „Волки“ тоже понравился и с того вечера он стал членом Среды и её посетителем. Вскоре из него выработался писатель — Борис Зайцев». Расскажите нам об этих московских литературных «Средах».*

— В это как раз время в Москве начинал печататься молодой писатель, быстро про шумевший, Леонид Андреев, которого можно бы назвать

импрессионистом и даже символистом. Он притягивал к себе меня как магнит. Я с ним познакомился. И сразу почти влюбился. Он тоже был старше меня, как и Чехов, но это человек уж вполне *нашего*, молодого поколения, именно призванный *освежить* застоявшуюся литературу. Он заведовал тогда литературным отделом газеты «Курьер» — там и начал печатать меня. (Первый мой импрессионистически-бессюжетный рассказ «В дороге» был напечатан 15 июля 1901 года. Помню огненное впечатление, произведённое на меня, когда развернул я в тот далёкий день газету «Курьер». Судьба моя решилась. Никаких инженерств — литература.)

Андреев же ввёл меня в московский кружок писателей «Среда», членами которого были: он сам, Бунин, Вересаев, Телешов и другие, менее известные. Наездами, из старших, Короленко, Чехов, Горький.

Андреев прославился быстро: сначала небольшими, с трагическим налётом, импрессионистическими рассказами, потом пьесами — фантастическо-символическими, шедшими по всей России и частью за границей.

Бунин — образ «искусства для искусства», вернее, для немногих, не на большую публику. По духу несколько уединённый талант, получивший истинное признание позже, отчасти русский Леконт де Лиль, будущий академик и нобелевский лауреат.

Вересаев — врач, социал-демократ. Известность крупную получил «Записками врача». Книга очень искренняя и правдивая. Имела большой успех, чего нельзя сказать о его повестях и романах (жизнь русской интеллигенции).

Чехов и Горький находились тогда уже в зените славы. Появлялись на «Среде» случайно, очень редко, с чтениями не выступали никогда. Пьесы их шли в Художественном театре с огромным успехом.

Короленко бывал как почётный гость, когда приезжал в Москву из Полтавы, где жил. Это была как бы икона прежней полосы литературы — и человек высокого благородства и человеколюбия.

— *Некоторым показалось, что Вы и Леонид Андреев — модернистское и прогрессивное крыло кружка. Что Вы об этом думаете?*

— Те, кто считали Андреева и меня как бы левым крылом «Среды», по-моему, не ошибались. Тут начинался уж XX век.

— *Вы печтаетесь, начиная с 1904 года, в самых значительных журналах и альманахах того времени: «Правда» (журнал с марксистским уклоном!), «Новый путь», «Вопросы жизни», «Золотое руно»...*

— Журнал «Правда» был действительно марксистский. Но печатались там и не марксисты. Одно время литературным отделом заведовал Бунин, он и пригласил меня сотрудничать. Продолжалось это недолго. Рядом с Лениным и Луначарским это было неподходяще. Нас выгнали.

Другой журнал, «Золотое руно», литературно-художественный, с отличными репродукциями, модернистского направления, оказался гораздо более подходящим для меня.

Это всё Москва. В Петербурге тоже росли новые течения литературные. В начале века Мережковский редактировал «Новый путь», журнал неохристианства и символистов. Затем его заменили.

«Вопросы жизни» — журнал приблизительно того же направления, но с участием неоправославных Бердяева, проф. Булгакова и др.; редактировал его мой приятель, «мистический анархист» Георгий Чулков, а секретарём редакции был Ремизов. Он при редакции и жил, как и Чулков. Помню, вошёл я раз в гостиную их общую, там сидел в кресле Мережковский и с нежностью глядел на сидящую у него на коленях крошечную девочку, покачивая её (дочь Ремизова). Странно было видеть этого собеседника Христа и Антихриста за таким идиллическим и благодушным занятием.

И «Новый путь», и «Вопросы жизни», как позже и «Факелы» Чулкова, были журналы молодёжи, новаторские, относившиеся уже к XX веку. Более старшая полоса — «Вестник Европы», «Мир Божий», «Русское богатство» — ежемесячные солидные журналы русской либерально-радикальной интеллигенции. Короленко как раз редактировал «Русское богатство». Между новыми и старыми течениями существовала всегда полемика и даже некая враждебность. Главным образом из-за религиозного вопроса. Старшее поколение было далеко от христианства, младшее ближе, но к обновлённому («Новый путь»). Тут Мережковский, жена его Гиппиус, Бердяев, Булгаков были против Короленки, Михайловского.

— В течение некоторого времени Вы были редактором литературного альманаха «Шиповник», издаваемого в Петербурге. Так что у Вас возникли связи в петербургской литературной среде. Можете ли Вы нам рассказать, каковы были различия и даже противоречия, которые Вам приходилось наблюдать, между Москвой и Петербургом, этими двумя полюсами русской литературной жизни начала века? Расскажите подробнее о вечерах «на Башне» у Вячеслава Иванова, где собирались Блок, Кузмин, Городецкий, Ремизов, Сологуб, Чулков. Встречались ли Вы, когда наезжали в Петербург, с Д. Мережковским и с Зинаидой Гиппиус?

— Первую мою книгу рассказов издало молодое издательство «Шиповник» в 1906 году, в Петербурге. Насколько это было время затишья в политике, настолько — расцвета в литературе. «Шиповник» именно выражал молодую линию в литературе, молодыми были и издатели З. И. Гржебин и С. Ю. Копельман. Отношения у меня с ними были очень хорошие, и мне поручили редакторство первых литературных альманахов «Шиповника», где и сам я печатался почти в каждой книге.

Особенной разницы между Петербургом и Москвой в литературном отношении не было, но оттенок существовал. Московские модернистские издания — «Весы» (Брюсов), «Золотое руно» (Рябушинский) — поддерживались московским купечеством образованного круга. Петербург более международен и надменнее. Здесь художественный журнал «Мир искусства» — Дягилев, Бенуа, Лансере и т. п., не говоря уже об упомянутых «Новом пути», «Вопросах жизни», «Шиповнике». Литературная жизнь в Петербурге

кипела, пожалуй, больше, чем в Москве. Во всяком случае, это был мирный недлинный промежуток истории русской, перед войной и революцией, благоприятный литературе художественной, в прозе ли или стихах. Мережковского и Гиппиус я в Петербурге, конечно, встречал. Фигуры это были очень своеобразные. Книгой «Толстой и Достоевский» я как раз увлекался. Помню, что Зинаида Гиппиус на обеде у поэта Фёдора Сологуба дразнила меня, «провинциала» из Москвы, вопросом: «Что сделали бы вы, если бы по скатерти ползла мушка, и вы бы знали, что она ползёт ко Христу?» При этом насмешливо наводила на меня лорнет. Чувствуя, что это именно для издевательства, я ответил что-то юношески резкое, почти дерзкое.

— Кажется, что Ваш переход от некоторого пантеизма к христианскому мировоззрению совершился под влиянием религиозного мыслителя Владимира Соловьёва.

— Да, Владимир Соловьёв сыграл огромную роль в духовном развитии моей молодости. Он раздвинул, как бы расширил и чрезвычайно освежил рамки официального христианства, приближая к самому Христу. Много, очень многое сдвинул в моей душе, от пантеизма ранней юности моей повёл дальше. Летом, живя в имении отца в Тульской губернии, в 70 верстах от Ясной Поляны Толстого, я зачитывался Соловьёвым до восхода солнца. Косари выходили на покос, позвякивая косами, натачивая лезвия о бруски, а я выходил к крыльцу флигеля своего, приветствуя восходящее светило, — для меня символ Бога. О Русь! Ещё смиренная в наших местах, но в 1905 году совершившая уже генеральную репетицию позднейшего.

— В 1905 году Вы были уже довольно известным молодым писателем, вращавшимся в прогрессивной части литературной и артистической богемы. Как Вы и Ваши друзья отнеслись к тому, что Ленин позже назвал «генеральной репетицией революции»?

— Судьба всегда отводила меня от исторических событий. Незадолго до московского вооружённого восстания, зимой 1905 года, я уехал в имение родителей. Жена и все друзья мои оставались в Москве и были свидетелями, сочувствующими революции. Меня занимали больше религиозные и метафизические вопросы.

— Не думаете ли Вы, что можно найти приглушённые отклики революции 1905 года в Вашем творчестве, в частности, в Вашем первом романе «Дальний край»?

— Конечно, в писании моём остались глухие отзвуки революции. В романе «Дальний край» (1911) они даже явные, явное сочувствие революции (размеров и конечного облика которой никто из нас тогда не представлял). Совсем недавно я получил из России сведения, что меня привлекали даже к суду по серьёзной статье Уголовного уложения. Высшая судебная инстанция отменила заключение прокурора. Но роман во время войны был на некоторое время конфискован.

– *Расскажите нам о небольшом и недолговечном журнале «Зори», где Вы были одним из главных сотрудников вместе с А. Блоком, А. Белым, Ремизовым и Муратовым.*

– В мирном промежутке, между революцией 1905 года и войной 1914-го, мы, группа московской молодёжи литературной, издавали журнальчик «Зори», возвышенно-христианского духа, в котором принимали некоторое участие и известные молодые писатели — Блок, Андрей Белый. Всё это было очень чистое и искреннее, отчасти младенческое. Один из сотрудников наших написал, что ставит стихи Блока выше «Анны Карениной». По правде сказать, это не было мнением редакции.

– *Подобно Гоголю, Баратынскому, Тютчеву, Мережковскому, Блоку, Кузмину и Павлу Муратову, Вы отправились в Италию света Феба Аполлона и тайны Аполлона Мусагета. Какой Вам показалась Италия и что она собой для Вас представляла?*

– Италия сыграла огромную роль в жизни моей. Я видел её и жил в ней: в Риме, зимой 1911–1912 годов... пять раз. Итальянское искусство стало для меня даже более родным, чем русское.

– *Была ли Мировая война для Вас переломом, как это случилось с Полем Валери? Пришли ли Вы к тягостному выводу, что все цивилизации смертны, или Вы отстранились от слишком жестокого зрелища, которое представляла тогда Европа, раздираемая на куски, и не замкнулись ли Вы в «башне из слоновой кости»?*

– Видите ли Вы особенное значение в том, что Вы предприняли в те мрачные дни перевод дантовского «Ада», который окончательно завершили уже в Париже во время Второй мировой войны?

– Данте, «Ад» которого я в это время перевёл, сопровождал меня многие годы. И в известной степени был тем *tour d'ivoire*, о котором вы спрашиваете, — как же не *tour d'ivoire*, когда однажды, работая над переводом в своём флигеле, в самом начале большой революции, я, по сигналу из дома, должен был, бросив рукописи, прятаться в кусты от ожидавшегося обыска со стороны революционеров? Перевод Данте я начал до войны 1914 года. Войну я переживал в Притыкине, а не в Москве, очень страстно, кипя и волнуясь от газеты до газеты. Да и не я один в нашей семье. Разумеется, работа над Данте, детищем любимой Италии, была громоотводом и неким переселением в иной мир. То, что писал я сам тогда, было очень далеко от современности.

А современность надвигалась грозно — именно в России. Для Франции Версальский мир был триумфом (недолговечным!), для России — началом страшного периода революции — уж не такой «[революции] лепетаний», как в 1905 году, а настоящей.

– *Как приняли Вы революцию? Как отнеслись Вы к падению монархии и, год спустя, к убийству царской семьи в Екатеринбурге? Как отразилась революция на Вашем творчестве?*

Какую роль сыграла революция в Вашем духовном развитии, в Вашем возвращении в лоно православной Церкви?

Можно ли сказать, что Вы внутренне пережили это искупление ошибок многих поколений — и это утверждение было запечатлено Вами a posteriori в Вашем втором романе, «Золотой узор»?

— Собственно монархию мы не жалели. Вначале всё нам представлялось по-иному. Думали, что приходит свободная демократическая республика, с парламентом, всё как на Западе. Разочарование было полное. Террор, расстрелы, деспотизм... Убийство императора и всей его семьи, детей и близких, воспринималось ужасно.

Революция, конечно, очень отозвалась и на моём писании. Слишком много было пережито. Были расстреляны мой племянник, молодой офицер — в первый день *бескровной* революции, в 1919 году — мой пасынок, тоже молодой офицер, и тоже безвинно. Смерть отца — от огорчений, всё это переживалось очень горестно.

В писании моём первое время — уход в Ренессанс и темы исторические, но и современность, взятая в небольших лирических поэмах, в прозе, над которыми висит острота и мука революции, — отсюда и переход к усиленной религиозности. Конечно, произошло это несколько позже, когда осознал я и некую расплату за нашу прежнюю эгоистическую и беззаботную жизнь. Да, это внутренняя тема моего более позднего романа «Золотой узор».

— В 1921 году Вы были избраны в Москве председателем Союза писателей. Это избрание не может нас не удивлять, если принять во внимание исторический контекст той эпохи. Можете ли Вы нам дать пояснения по этому поводу?

Как председателю Союза писателей, Вам приходилось обращаться с различными ходатайствами в защиту преследуемых собратьев перед Каменевым и Луначарским. Какие Вы сохранили воспоминания об этих встречах?

— Действительно, в начале революции, в 1921 году, я был избран председателем Московского союза писателей. Это не был коммунистический Союз. Тогда в Москве оставалось ещё много прежней русской интеллигенции. В Уставе нашем говорилось, что ни один коммунист не может быть членом Союза. Парадокс? Разумеется, но тогда правительство было занято ещё гражданской войной, не до нас ему было.

Ещё до революции я был лично знаком с Каменевым и Луначарским. Меня иногда направляли к ним с ходатайствами об освобождении арестованных членов Союза. Обычно оба относились сочувственно. Раз удалось даже помочь задержанному в Харькове французскому профессору Мазону (ныне покойному) — он к Союзу никакого отношения не имел.

— В 1921 году Вы оказываетесь в числе писателей, которые создали кооперативную лавку писателей, воспользовавшись НЭПом. Что Вы

скажете об этой деятельности и о Ваших сотрудниках, в числе которых есть имена Бердяева, Осоргина?

— В те годы, при так называемом НЭПе, нам, некоммунистическим интеллигентам, разрешали открывать так называемые «Лавки писателей». Их оказалось в Москве несколько. Занимались они книготорговлей. Одни клиенты приносили для продажи свои книги. Лавки покупали, продавали их другим, зарабатывая на этом.

Я тоже работал в такой лавке — вместе с Бердяевым, профессором Живелеговым, известным писателем Осоргиным и др. Благодаря этому мы могли, не служа у большевиков, всё-таки не умереть с голоду.

— Можете ли Вы нам рассказать о Вашем участии в Комитете помощи голодающим?

— В это как раз время, летом 1921 года, Россия очень пострадала от голода. Следуя давним заветам, русская интеллигенция, не преследуя никаких политических целей, решила прийти на помощь. Был образован Комитет для сношений с иностранными благотворителями (Гувером, Нансеном и др.). В этот Комитет вошёл и я, от писателей. Сначала власти разрешили нам собираться и заседать, под председательством Каменева, потом вдруг всех арестовали. Бюро Комитета было выслано в восточные губернии. Меня выпустили через два дня.

— Как Вам удалось легально выехать из России в июле 1922 года? Предчувствовали ли Вы тогда, что покидаете свою Родину навсегда?

— Весной 1922 года я заболел сыпным тифом в тяжёлой форме. В одну из страшных ночей, когда все доктора нашли положение моё безнадежным, одна Вера, моя жена, верила в выздоровление. Положила с вечера мне на грудь икону св. Николая Мирликийского и тринадцатую свою бессонную ночь просидела со мной. Утром кризис, я пришёл в сознание — началось выздоровление.

Под предлогом поправления здоровья, при содействии Каменева и Луначарского, меня выпустили с семьёй в Берлин «для лечения». Да, я не думал, что это навсегда. А дочь моя, десятилетняя Наташа, когда поезд переходил границу, задумчиво бросила на русскую почву цветочек — прощальный. «Папа, мы никогда не вернёмся в Россию». А мы с женой думали — временное отсутствие.

— Вашей первой остановкой в изгнании был Берлин. Каким Вам показался этот космополитический город, о котором можно сказать, что он был своего рода сортировочной станцией русской словесности, пересылочным пунктом, где капризная судьба выполняла роль стрелочника — одни уже возвращались из Парижа с более или менее укрепившимся намерением вернуться в СССР (А. Толстой, И. Эренбург), другие — философы Бердяев, Франк, Лосский, Степун... — пополняли поневоле ряды эмигрантов первого призыва, сидевших на своих чемоданах и пытавшихся всеми силами обмануть своё бесконечное ожидание (Ремизов, Цветаева,

Белый, Ходасевич, Пастернак, Шмелёв, Шкловский). Каковы были Ваши отношения с этими столь различными людьми?

— Первый этап наш был Берлин. Он кишел русскими эмигрантами разных настроений политических. Преобладали противники советского режима. Но Алексей Толстой, ранний парижский эмигрант, как и некоторые другие, пробирался домой при посредстве просоветской берлинской газетки «Накануне». Это ему удалось.

— Лето 1923 года Вы провели на берегу Балтийского моря, недалеко от Штральзунда, в том же доме, где и Бердяев и философ Франк, где встречались с Алексеем Толстым. Расскажите нам о разговорах, которые Вы вели с ним?

— Лето 1923 года мы проводили на балтийском побережье. Жили в том же доме, что и Бердяев, философ Франк. Отношения были дружественные. Недалеко, в Херингсдорфе, жил Горький, в то время тоже эмигрант, издававший за границей журнал «Беседа».

Однажды Толстой, с которым в Москве мы в своё время были близки, сказал мне: «Борька, Борька, ты дурак. И Вера дура. Вы всегда были нищими, и при всяком режиме будете нищими. Потому что ты дурак». (Он разумел под этим то, что я не кланяюсь большевикам в ноги, — и вообще никому не кланяюсь.)

— После Берлина Вы ненадолго задерживаетесь в Риме, где профессор Этторе Ло Гатто пригласил Вас принять участие в съезде, посвящённом подлинной русской культуре, организованном Istituto per l'Europa Orientale. Можете ли Вы нам напомнить имена других участников и обсуждавшиеся темы?

— Римский профессор русской литературы Ло Гатто пригласил нас в Рим на конференцию журнала «Russia», редактором которого был он. Предмет — о России (современной). Состав: Бердяев, Франк, Чупрев, Новиков (ректор Московского университета), Осоргин, Муратов и я. Мы поочередно читали лекции: большинство по-французски, мы с Осоргиным — по-итальянски. Для римлян всё это было ново и интересно. Съезд прошёл очень хорошо.

— Третий и последний этап — Париж. В 1924 году Вы прибываете в Париж. Каковы были Ваши первые впечатления от Франции сразу по приезде? Какие писатели Вам предшествовали в этой столице русской эмиграции, которой уже стал Париж?

— Последний этап эмиграции нашей — Париж. Тут испытал я чувство, подобное Наташиному: «Да, надолго». В Париже находилось уже немало русских писателей-эмигрантов: Мережковский, Гиппиус, Бунин, Куприн, Ремизов, Шмелев, Алданов, Тэффи (псевдоним очень известной юмористки). Это группа старших, но были и более молодые: Георгий Иванов, Одоевцева, Адамович, Ходасевич, Берберова, Газданов. Мы попали более

или менее в свою среду. С французами были отношения благожелательные с обеих сторон.

Русская эмиграция разделялась на старшую группу и младшую, гнездившуюся главным образом на Монпарнасе, в знаменитом тогда кафе «Ротонда».

— *Составляла ли эмиграция в Париже в те времена нечто однородное или, наоборот, с самого начала было несколько «эмиграций»?*

В каких журналах и альманахах стали Вы сотрудничать?

— Кроме разделения по возрасту существовали и оттенки политические. В Париже издавались три газеты ежедневно: более левая «Последние новости» под редакцией Милюкова, бывшего министра иностранных дел Временного правительства; ещё более левая «Дни» Керенского (недолго) и правая «Возрождение» (но не монархическая). Лично я печатался во всех трёх, не будучи, собственно, писателем политическим. В «Юманите», впрочем, я не стал бы печататься, да туда никто меня и не звал. Как курьёз вспоминаю, что как раз «Юманите», единственная из парижских газет, приветствовала мой приезд в Париж. Статья была подписана французом, переводчиком моего романа «Золотой узор», подписывавшимся Parijani-pe. Я знал его ещё в России. Переводил он также Бунина.

— *Принимали ли Вы участие во встречах, организованных в 1929–1930 годах Studio Franco-Russe, встречах, в которых участвовали со стороны французов Ж. Бернанос, А. Мальро, Т. Марсель, Ж. Маритен, Ж. Мадоль, Г. Массис, Ст. Фюме... а со стороны русских — Бердяев, Вышеславцев, Цветаева, Ходасевич, Тэффи, Берберова, Алданов, Осоргин, Маковский, Слоним, Газданов, Поплавский?..*

— У меня остались хорошие воспоминания о них, русско-французских литературных собраниях, скромных и симпатичных. Помню Бернаноса, показавшегося мне похожим на нашего Алданова. Дебаты были чисто академические, по литературным вопросам. Со стороны русских выступали преимущественно писатели молодые — Фохт, Поплавский, Цветаева.

— *В то же время Вы написали и опубликовали во французском издательстве PLOM «Житие Преподобного Сергия Радонежского» — в 3-м номере коллекции «Roseau d'Or» («Золотой тростник»). В этой же коллекции были напечатаны также Бердяев и Ремизов. Как, по-Вашему, было ли в этом начало франко-русского сближения?*

— В самом начале эмиграции, таким образом, наметилось некоторое сближение с французскими литературными кругами, но оно оказалось непрочным и в дальнейшем не возросло, а скорее, убавилось.

— *По поводу этой «житийной» книги, за которой последовали «Алексей — Божий человек» и «Сердце Авраамия», можно ли говорить о Вашем возвращении к истокам русской духовной жизни?*

— По поводу моего «Св. Сергия Радонежского», «Алексея, Человека Божия» и «Сердца Авраамия» можно, конечно, говорить о некотором

устремлении к древнему, святому, мирному и христианскому в русской жизни, в противовес ужасам революции.

— *Одновременно с этими духовными поисками мы сталкиваемся с тем, что я бы назвал «поисками утраченной России». Речь идёт о Ваших трёх биографиях, ставших образцовыми, — Тургенев, Жуковский и Чехов. Что вы можете сказать по этому поводу?*

— Возможно, что и тяготение к биографиям крупных русских писателей вызвано отталкиванием от тяжёлой современности.

— *В Париже и в Грассе Вы находились в постоянном общении с Иваном Алексеевичем Буниным. Расскажите нам о нём как о человеке и о его творчестве, которое Вы так рано оценили. Что значила для Вас в 1933 году Нобелевская премия эмигрантскому писателю?*

— Дни в Грассе, где мы гостили временами у Бунина, вспоминаю всегда по-хорошему. Жёны наши были подругами с юных лет. Я тоже знал и ценил Бунина ещё молодым. В Грассе на его вилле жили и два молодых писателя — Галина Кузнецова и Зуров. Все писали, так что мы работали в четыре пера — маленький литературный улей. Строгий в писании своём, отчасти парнасском, здесь Иван Алексеевич был приветливым хозяином, прекрасным рассказчиком, во время прогулок или за обедом смешившим нас артистическим изображением разных людей — особенно из простонародья. Как писатель он был всегда «не для толпы», к слову относился очень требовательно, высоко ценил Флобера, но сам был человек природно русский. Характер переменчивый и не всегда лёгкий. Во всяком случае, один из самых выдающихся писателей того времени, быть может, последний представитель русского классицизма, восторженный почитатель природы и острый знаток народа русского. Нобелевскую премию Бунина мы встретили восторженно, это была как бы победа эмиграции. Помню, мне пришлось писать для «Возрождения» передовую в день получения известия. Единственный раз в жизни писал я наспех, в типографии, около Porte d'Italie, кончил около трёх часов ночи и в повышенном настроении обошёл все быстро площади, в каждом выпивая рюмку коньяку, приговаривая: «За Бунина».

— *Чем было для Вас присуждение в 1959 году Нобелевской премии Борису Пастернаку и что Вы вообще думаете о тех, которых официальная советская критика называет «внутренними эмигрантами»?*

— Пастернака я мало знал. В 1921 году он пришёл раз ко мне со своей рукописью; очень мне понравилась проза, весьма своеобразная и многообещающая. Так оно и оказалось: позднейший «Доктор Живаго» обошёл весь мир. Конечно, для советской власти Пастернак совершенно неподходящий человек. А для меня — настоящий большой писатель. В последний год его жизни у нас завязалась оживлённая дружеская переписка. Это было трудное для него время: власть всячески травила его, некий Семичастный

публично определял его «хуже свиньи». Разумеется, он очень ценил дружескую поддержку из-за границы.

– *Помимо Вашей переписки с Пастернаком Вы смогли с начала «оттепели» если не говорить с советскими писателями, то хотя бы войти в контакт с некоторыми из них. Расскажите нам о визите к Вам в Париже Константина Паустовского (в 1962 году).*

– Несколько позже кончины Пастернака посетил меня выдающийся советский писатель Паустовский. Нобелевской премии он не получил (хотя одно время считался кандидатом). Произвёл на меня хорошее впечатление: образованный, простой, скромный человек, выросший в атмосфере прежней русской интеллигенции.

– *Раз мы говорим о Нобелевской премии, я хотел бы Вам задать вопрос более злободневный: чем явилось для Вас присуждение этой премии Александру Солженицыну?*

– Присуждение премии Солженицыну считаю неким «выпрямлением линии» Шведской Академии после Шолохова. Этот последний получил её в результате долгого давления советской власти на жюри. Это был как бы «собачий кусок»: вот, нате вам, только отвяжитесь. За Солженицына никто из сильных мира сего не хлопотал. В его лице верх взяла правда мученической жизни, большой души и большого таланта. Солженицына я никогда не видал, произведения же его читал и ценю очень высоко.

– *С другой стороны, что Вы думаете о соцреализме?*

– Социалистический реализм выдуман М. Горьким. К настоящей литературе он не имеет никакого отношения.

– *В книге «Одиночество и Свобода» Георгий Адамович пишет: «Среди писателей, покинувших Родину ради свободы, Зайцев — один из тех, кому свобода действительно оказалась нужна, ибо никак, никакими способами, никакими уловками не мог бы он там выразить того, что говорит здесь... Если мы вправе толковать о духовном творчестве в эмиграции, то лишь благодаря таким писателям, как он...». И, естественно, поэтому мы именно Вас просим дать определение.*

– Мне трудно оценивать вклад эмиграции в русскую литературу, потому что я и сам есть частица этой эмиграции. Всё-таки могу сказать: что могли, то и сделали. У нас оказалось великое преимущество *свободы*, но и великая грусть отрыва от Родины, та грусть, которую испытала моя дочь, девочкой переезжая русскую границу. Кичиться нам нечем. Жизнь наша здесь была нелегка, но никогда не приходилось гнуть голову ни перед кем. Какие были, такие и остались, — впрочем, осталось нас весьма мало. Это ничего не значит. За грехи наши понесли известное возмездие — надо принять это, как спокойно примириться и с участью своею. И всё-таки самый факт нашего существования говорит, что не все склонили головы перед силой, — горсть осталась.

— *И вот, подходя к итогам нашей беседы, не могли бы Вы нам сказать, что Вы думаете о Серебряном веке русской литературы, Вы, являющийся последним его представителем?*

— Моя молодость совпала с началом так называемого Серебряного века русской литературы. Этот «век», собственно, не столетие, а просто относительно тихий промежуток между «генеральной репетицией» революции (1905) и 1917 годом, когда она пришла полностью. В этом промежутке русская литература несколько оживилась после усталости и провинциализма конца XIX века. Конечно, Толстой, Достоевский и Тургенев, да и Чехов — непревзойдённые величины. Но это прошлое. В восьмидесятых, девяностых годах уже чувствовалась усталость от третьестепенных «реалистов». Сильно воспринимался новый Запад в лице Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, Верхарна, Бодлера, Верлена. Западный символизм и анти-Золя, если так можно выразиться, стали сильно овладевать душами русских писателей. Гигантов, подобных прежним, не появлялось, но общий дух литературы изменился. Бальмонта, Вячеслава Иванова, Блока, Белого, Ремизова никак нельзя было отнести к прежнему веку. Символизм, импрессионизм расцвели. И отпадение провинции в литературе. Кроме символизма появились и другие «измы»: импрессионизм, имагинизм, футуризм — дальше шли уже искажения и несерьёзное.

— *Тягостно ли Вам сознание, что из-за политических обстоятельств Вы не располагаете широким кругом читателей на своей Родине, или Вы считаете, что Ваше положение писателя «для немногих» включает в себе некоторые преимущества? Иными словами, предпочитаете ли Вы элитарную культуру массовой культуре?*

— Я всегда был писателем уединённым, большой публики не искал, поэтому отрезанность от России в этом отношении меня не удручала. Но, конечно, в отсутствие возможности говорить с русскими радости мало.

— *В начале нашего интервью мы обратились к Вам как к патриарху русской словесности, не скрывая при этом чувства почтительного восхищения. Надеюсь, Вас не удивит, если мы Вас попросим сказать — в чём же заключается итог Вашего духовного развития. Можно ли усматривать в Вашей последней повести, «Река времён», выражение Вашей жизненной философии, которая в то же время — итог богато наполненной жизни, иначе говоря — «последнее слово» мудреца?*

— Длинный путь жизни привёл меня в конце концов к христианству. Я православный. И главной поддержкой моей в страшные годы революции было именно христианство — противоположение христианской любви крови и насилию. Быть может, в последней новелле моей жизни — «Реке времён» — нечто подобное и выражено.